

В.Г. Зебальд Естественная история разрушения

Ныне очень трудно составить себе хотя бы мало-мальски удовлетворительное представление о масштабах уничтожения немецких городов, которое происходило в последние годы Второй мировой войны, и ещё труднее размышлять о кошмаре, связанном с этим уничтожением. Конечно, из «Обзоров стратегических бомбовых ударов» союзников, из сведений Федерального статистического ведомства и других официальных источников следует, что

УДК 94(4) «1939/45»

ББК 63.3(0)62

3-47

Издатель Андрей Курилкин

Перевод с немецкого Нина Федорова

Редактор Александр Кабисов

Дизайн Юрий Остроменцкий, Дарья Яржамбек



Перевод настоящей книги был поддержан грантом
Гёте-Института, финансируемого Министерством
иностранных дел Германии

Зебальд В.Г.

3-47 Естественная история разрушения / Пер. с нем.
М.: Новое издательство, 2015. — 172 с.

ISBN 978-5-98379-199-2

В «Естественной истории разрушения» великий немецкий писатель В.Г. Зебальд исследует способность культуры противостоять исторической катастрофе. Герои эссе Зебальда — философ Жан Амери, выживший в концлагере, литератор Альфред Андерш, сумевший приспособиться к нацистскому режиму, писатель и художник Петер Вайс, посвятивший свою работу насилию и забвению, и вся немецкая литература, ставшая во времена Второй мировой войны жертвой бомбардировок британской авиации не в меньшей степени, чем сами немецкие города и их жители.

УДК 94(4) «1939/45»

ББК 63.3(0)62

ISBN 978-5-98379-199-2

© The Estate of W.G. Sebald, 1999

All rights reserved

© Новое издательство, 2015

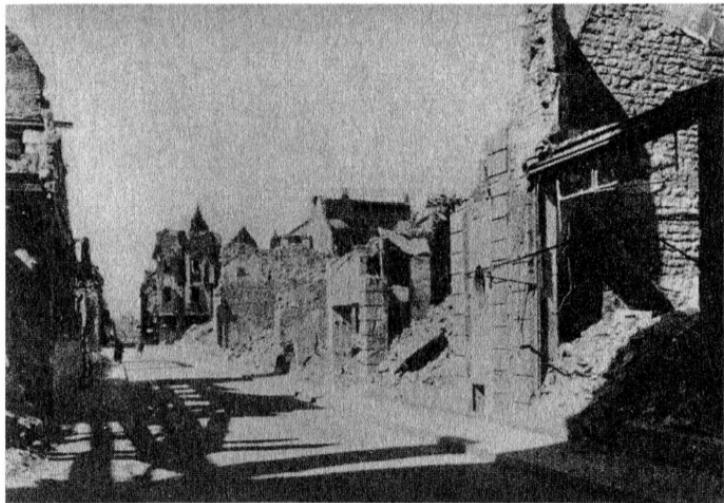
Воздушная война и литература

Цюрихские лекции

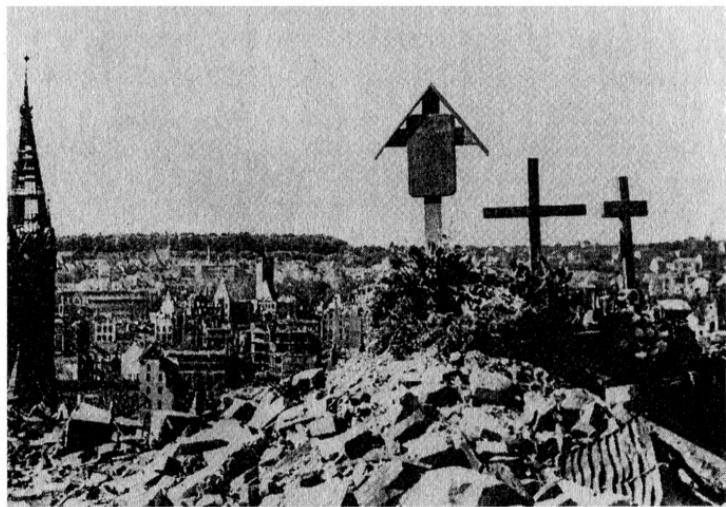
Прием устранения — это защитный рефлекс любого эксперта.
Станислав Лем. Минимая величина

I.

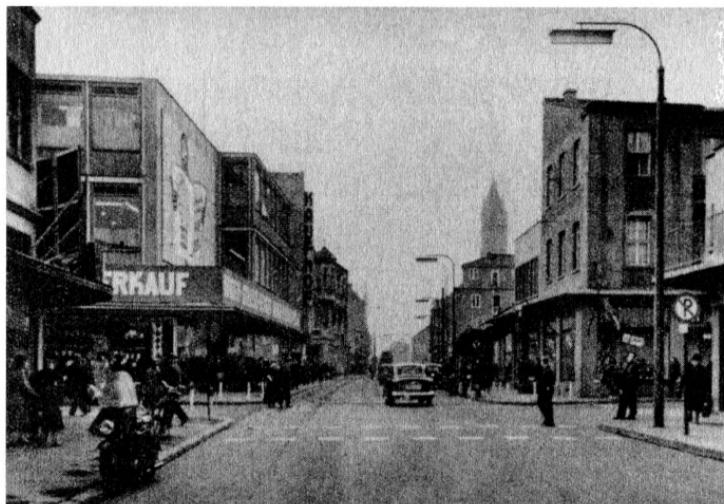
Ныне очень трудно составить себе хотя бы мало-мальски удовлетворительное представление о масштабах уничтожения немецких городов, которое проходило в последние годы Второй мировой войны, и еще труднее размышлять о кошмаре, связанном с этим уничтожением. Конечно, из «Обзоров стратегических бомбовых ударов» союзников, из сведений Федерального статистического ведомства и других официальных источников следует, что только BBC Великобритании, совершив 400 000 вылетов, сбросили на вражескую территорию миллион тонн бомб, что из 131 города, подвергшегося однократной или неоднократным бомбардировкам, некоторые были почти



полностью разрушены, что в Германии жертвами воздушной войны стали около 600 000 гражданских лиц, что были уничтожены три с половиной миллиона жилищ, что в конце войны семь с половиной миллионов человек не имели кровя, что на каждого жителя Кёльна приходилось 31,4 м³, а на каждого жителя Дрездена — 42,8 м³ строительных обломков, но что это означало на самом деле, мы не знаем¹. Эта первая в истории разрушительная акция такого масштаба вошла в анналы возрождающейся нации лишь в форме туманных обобщений, словно бы не оставила заметного болезненного следа в коллективном сознании, практически исключена из ретроспективного личного опыта пострадавших, никогда не играла сколько-нибудь значительной роли в дискуссиях о внутреннем состоянии нашей страны и, как позднее констатировал Александр Клюге, так и не стала понятным обществу символом² — ситуация весьма парадоксальная, если учесть, сколько людей день за днем, месяц за месяцем, год за годом подвергались бомбовым ударам и как долго, даже спустя много лет после войны, оставались лицом к лицу с ее реальными последствиями, убивающими



(такой вывод напрашивается сам собой) всякое положительное жизнеощущение. Несмотря на прямо-таки невероятную энергию, с какой люди после каждого налета сразу же принимались за восстановление мало-мальски «человеческих» условий, в городах вроде Пфорцхайма, который во время одного-единственного воздушного налета 23 февраля 1945 года потерял почти треть своих 60 000 жителей, даже после 1950-го на развалинах еще стояли деревянные кресты, а чудовищный смрад, который, как сообщала в марте 1947 года Джанет Флэннер, с первым весенним теплом пробуждался в зияющих подвалах Варшавы³, сразу после войны, конечно же, наполнял и немецкие города. Однако в сознание уцелевших, которые оставались на месте катастрофы, он явно не проникал. Люди передвигались «по улице между жуткими руинами (так гласит запись Альфреда Дёблина, сделанная в конце 1945 года на юго-западе Германии), словно в самом деле ничего не произошло и... город выглядел так всегда»⁴. Оборотной стороной означенной апатии была декларация нового начала, бесспорный героизм, с каким все немедля взялись за работы по реорганизации



и расчистке. В брошюре, посвященной городу Вормсу 1945–1955 годов, мы читаем: «В это время требуются несгибаемые люди, чистые в своих помыслах и целях. Ведь и в будущем им не один год придется стоять на передовом рубеже возрождения»⁵. В текст, написанный по заказу городской администрации неким Вилли Руппертом, включено множество фотографий, в том числе и воспроизведенные здесь фотографии Кеммерерштрассе. Полное разрушение предстает здесь не как кошмарный финал коллективной aberrации, а, так сказать, как первая ступень успешного возрождения. По окончании беседы с руководством «ИГ Фарбен», состоявшейся во Франкфурте в апреле 1945 года, Роберт Томас Пелл протоколирует свое удивление по поводу немцев, к чьим раболепным оправданиям, жалости к себе, оскорблённым чувствам невиновности и упрямству странно примешивались заявления о готовности «воздордить свою страну еще более великой и могучей, чем прежде»⁶, — свое намерение они в итоге осуществили, что легко увидеть на почтовых открытках, какие путешествующий по Германии может сегодня купить во франкфуртских газетных

киосках и разослать из города на Майне по всему свету. Теперь уже легендарное и в определенном смысле действительно достойное восхищения возрождение Германии, которое после разрушений, произведенных в войну противниками, оказалось равнозначно поэтапной второй ликвидации собственной предыстории, ведь, требуя огромных трудовых усилий и создавая новую, безликую реальность, оно изначально пресекало всякое воспоминание о прошлом, ориентировало население исключительно на будущее и обязывало его молчать обо всем, что с ним случилось. Немецкие свидетельства о том времени, отстоящем от нас меньше чем на срок жизни одного поколения, настолько скучны и разрозненны, что в сборнике репортажей «Европа в развалинах», изданном в 1990 году Хансом Магнусом Энценбергером, смогли участвовать лишь зарубежные журналисты и писатели, представившие работы, которые, что характерно, до тех пор в Германии почти не принимались к сведению. Немногие немецкие статьи принадлежат бывшим эмигрантам или иным сторонним наблюдателям, вроде Макса Фриша. Те, что не уезжали из страны, охотно говорили о себе, как, например, Вальтер фон Моло и Франк Тис в злополучном споре с Томасом Манном, что в тяжелую годину оставались на родине, тогда как другие со всеми удобствами отсиживались в Америке; однако они полностью воздержались от комментариев по поводу того, как происходило и закончилось разрушение, наверное не в последнюю очередь из боязни, что реалистическими описаниями вызовут недовольство оккупационных властей. Вопреки общему мнению, современный дефицит памяти не восполнила и сознательно создававшаяся с 1947 года послевоенная литература, от которой стоило бы ожидать хоть

Frankfurt am Main

Blick zum Römer 1947



FRANKFURT - GESTERN + HEUTE

Blick zum Römer 1997



частичного раскрытия истинной ситуации. Если старая гвардия так называемых внутренних эмигрантов главным образом радела о создании себе нового реноме и, как замечает Энценбергер, в бесконечных затрапанных абстракциях взывала к идеи свободы и гуманистическому западному наследию⁷, более молодое поколение только что возвратившихся на родину

авторов так зациклилось на собственных, то и дело сползающих в слезливую сентиментальность воспоминаниях о войне, что, похоже, толком не обращало внимания на заметные повсюду ужасы эпохи. Даже славная литература развалин, программно заявлявшая о честном и неподкупном изображении реальности и, по признанию Генриха Бёлля, ставившая перед собой прежде всего задачу рассказать, «что мы... застали по возвращении домой»⁸, при ближайшем рассмотрении оказывается уже настроенным на индивидуальную и коллективную амнезию инструментом, вероятно управляемым полубессознательными процессами сам цензуры, — инструментом сокрытия мира, который более невозможно постичь. Подлинное состояние материального и нравственного разрушения, в котором пребывала вся страна, в силу молчаливого уговора, обязательного для всех и каждого, описывать было нельзя. В итоге самые мрачные аспекты заключительного акта разрушения, пережитого подавляющим большинством немецкого населения, так и остались позорным, табуированным семейным секретом, в котором человек, наверно, даже себе самому признаться не мог. Из всех созданных в конце 1940-х литературных произведений, собственно говоря, только роман Генриха Бёлля «Ангел молчал»⁹ мало-мальски дает представление о глубине ужаса, который тогда грозил завладеть каждым, кто вправду всматривался в руины. С первых же страниц становится ясно, что именно это повествование, словно бы проникнутое неизбывной печалью, будет не по силам нынешним читателям, как полагали издательство и, пожалуй, сам Бёлль, потому-то книга и опубликована только в 1992 году, с почти полувековым опозданием. Семнадцатая глава, рассказывающая об агонии фрау Гомперц, действительно полна столь радикального агностицизма, что

даже теперь одолеть ее непросто. Темная, клейкая кровь, толчками исторгающаяся на этих страницах изо рта умирающей, заливающая ей грудь, пачкающая простыню, стекающая с кровати на пол и образующая там лужу, — эта похожая на чернила и, как подчеркивает сам Бёлль, очень темная кровь есть символ направленной против воли к выживанию *aesodia cordis* — тусклой, уже непреодолимой депрессии, в какую, собственно говоря, должны были бы впасть немцы перед лицом подобного конца. Кроме Генриха Бёлля, лишь немногие авторы — Герман Казак, Ганс Эрих Носсак, Арно Шмидт и Петер де Мендельссон — дерзнули нарушить табу, наложенное на внешнее и внутреннее разрушение, хотя, как мы увидим ниже, большей частью весьма сомнительным способом. И когда в последующие годы специалисты по истории войны и истории Германии начали документировать гибель немецких городов, ситуация ничуть не изменилась, и картины ужасной главы нашей истории по-настоящему так никогда и не проникли за порог национального сознания. Эти компиляции, зачастую до странности безразличные к изучаемому предмету и выходившие, как правило, в более или менее отдаленных местах — например, «Огненная буря над Гамбургом» Ханса Брунсвига опубликована в 1978 году штутгартским издательством «Моторбух», — служили в первую очередь санации или устраниению знаний, несовместимых с нормальным рассудком, и не были попыткой точнее разобраться в поразительной способности к самоанестезии, которую демонстрирует общество, вышедшее из истребительной войны как будто бы без заметного психического ущерба.

Почти полное отсутствие мало-мальски глубоких нарушений в духовной жизни немецкой нации позволяет заключить, что новое, федеративно-республиканское

общество препоручило опыт, полученный в его предыстории, прекрасно функционирующему механизму вытеснения, что, с одной стороны, позволяет ему признавать факт своего возникновения из абсолютной деградации, с другой же — целиком исключить все это из сферы своих эмоций или же вообще объявить очередной славной страницей в перечне того, что без малейших признаков внутренней слабости удалось успешно пережить. Как указывает Энценсбергер, «загадочную энергию немцев» не постыть, «если упорно противишься пониманию, что они возвели свой изъян в ранг добродетели. Беспамятство, — пишет он, — было условием их успеха»¹⁰. Ведь предпосылками немецкого экономического чуда стали не только огромные инвестиции по плану Маршалла, не только начало холодной войны, не только разрушение устаревших промышленных сооружений, с тупым упорством произведенное бомбардировочными эскадрами, но и безропотная трудовая мораль, навязанная тоталитарным обществом, способность к логистической импровизации, характерная для стесненной со всех сторон экономики, опыт использования так называемой иностранной рабочей силы и в конечном счете оплакиваемая лишь немногими утратой тяжелого исторического бремени, которое в 1942–1945 годах сгорело в пожарах вместе с вековыми жилыми и конторскими зданиями в Нюрнберге и Кёльне, во Франкфурте, Ахене, Брауншвайге и Вюрцбурге. Таковы более или менее явные факторы становления экономического чуда. Катализатором стало, однако, нечто совершенно нематериальное: доныне не иссякший поток психической энергии, источником которого является хранимая всеми тайна трупов, замурованных в устои нашей государственности; тайна, которая связывала немцев друг с другом в послевоенные годы и связывает до сих

пор куда крепче, чем их когда-либо связывал любой позитивный план, направленный, скажем, на осуществление демократии. Пожалуй, не мешает напомнить об этих обстоятельствах именно сейчас, когда уже дважды потерпевший неудачу общеевропейский проект вступает в новую фазу и сфера влияния немецкой марки — истории свойственно повторяться — расширится примерно до пределов территории, оккупированной вермахтом в 1941 году.

Был ли стратегически или морально оправдан — и если да, то чем, — план неограниченной воздушной войны, поддержанный группировками в составе британских BBC еще в 1940 году, а начиная с февраля 1942 года осуществлявшийся практически, при использовании колоссальных людских и военно-промышленных ресурсов? В десятилетия после 1945-го, насколько мне известно, этот вопрос ни разу не становился в Германии предметом публичной дискуссии, в первую очередь, пожалуй, именно потому, что народ, уничтоживший и до смерти замучивший в лагерях миллионы людей, не мог потребовать от держав-победительниц информации о военно-политической логике, которая диктовала разрушение немецких городов. К тому же не исключено, что немалое число пострадавших от воздушных налетов — на это намекает, к примеру, очерк Ганса Эриха Носсака о гибели Гамбурга — при всем бессильном негодовании на явное безумие воспринимали исполнинские пожары как справедливую кару и даже как акт возмездия свыше, с которым не поспоришь. Если не считать заявлений нацистской прессы и радио, где постоянно твердили о садистских террористических налетах и варварских воздушных гангстерах, лишь крайне редко кто-либо вообще роптал на многолетнюю разрушительную

кампанию союзников. Самые разные источники сообщают, что немцы смотрели на происходящую катастрофу в завороженном безмолвии. «Настало другое время, — писал Носсак, — и столь ничтожные различия, как различия между другом и недругом, уже не принимались в расчет»¹¹. В противоположность большей частью пассивной реакции немцев на разрушение их городов, которое виделось им как роковая неизбежность, в Великобритании эта программа уничтожения с самого начала вызывала острые разногласия. Не только лорд Солсбери и Джордж Белл епископ Чичестерский неоднократно и весьма настойчиво выражали свой протест и в палате лордов, и перед широкой общественностью, заявляя, что стратегия налетов, направленных в первую очередь против гражданского населения, недопустима ни с точки зрения военного права, ни с точки зрения морали и что даже ответственные высшие военные чины расходятся в оценке этого нового способа военных действий. Постоянная амбивалентность в оценке уничтожительного побояща стала еще отчетливее после безоговорочной капитуляции. Чем больше в Англии появлялось фотографий и статей о результатах коврового бомбометания, тем сильнее становилось отвращение к тому, что там, так сказать, вслепую, натворили союзники. «In the safety of peace, — пишет Макс Хастингс, — the bomber's part in the war was one that many politicians and civilians would prefer to forget»*¹². Историческая ретроспекция тоже не внесла ясности в нравственную дилемму. В мемуарной литературе продолжались межфракционные распри, и оценки историков, декларирующих объективность извешенность, разнятся —

* В безопасности мирного времени роль бомбардировщиков в войне оказалась такова, что многие политики и штатские предпочли бы ее забыть (англ.).

от восхищения перед организацией столь масштабного предприятия до критики тщетности и предосудительности акции, наперекор рассудку беспощадно доведенной до конца. Стратегия так называемого area bombing* стала плодом крайне маргинального положения, какое Великобритания занимала в 1941 году. Германия находилась на вершине своего могущества, ее войска захватили весь континент и готовились продолжить вторжение в Африку и в Азию, а британцев, не имевших ни малейшей реальной возможности вмешаться, просто предоставить произволу их островной судьбы. Ввиду означенной перспективы Черчилль писал лорду Бивербруку, что есть только один способ вновь при国度ить Гитлера к конфронтации, «and that is an absolutely devastating exterminating attack by very heavy bombers from this country upon the Nazi homeland»**¹³. Правда, предпосылок для осуществления подобной операции тогда отнюдь не было. Недоставало производственной базы, аэродромов, учебных программ для экипажей бомбардировщиков, эффективных боеприпасов, новых навигационных систем, а также не было почти никакого хоть сколько-нибудь полезного опыта. Насколько отчаянным было положение в целом, доказывают фантастические планы, которые всерьез рассматривались в начале 1940-х годов. Так, например, предлагалось сбрасывать на поля острые железные сваи, чтобы воспрепятствовать уборке урожая, а гициолог-беженец по имени Макс Перуц проводил эксперименты в рамках проекта «Аввакум» (Habbakuk), в результате которого предполагалось построить гигантский непотопляемый авианосец из пайкрита — то есть изо льда, искусственно усиленного древесной

* Бомбометания по площадям (англ.).

** А именно абсолютно разрушительный, опустошательный удар самых тяжелых бомбардировщиков нашей страны по территории нацистской Германии (англ.).

массой. Едва ли менее фантастичны были в ту пору попытки разработать заградительную сеть из невидимых лучей или сложные расчеты, сделанные в Бирмингемском университете Рудольфом Пайерлем и Отто Фришем и приблизившие возможность создания атомной бомбы. Не удивительно, что на фоне таких замыслов, граничащих с утопией, куда более понятная стратегия бомбометания по площадям, которая, несмотря на низкую прицельность, позволяла вести военные действия на разных участках вражеской территории, в итоге одержала верх и в феврале 1942 года была одобрена решением правительства — «to destroy the morale of the enemy civilian population and, in particular, of the industrial workers»*¹⁴. Эта директива, вопреки непрестанным уверениям, родилась отнюдь не из стремления быстро закончить войну посредством массированного применения бомбардировочной авиации; скорее это была вообще единственная возможность вмешаться в войну. Впоследствии спешно форсированную программу уничтожения критиковали (также и с учетом количества собственных жертв) главным образом за то, что ее не свернули даже тогда, когда уже появилась возможность совершать несравненно более точные, избирательные налеты — например, на шарикоподшипниковые заводы, нефтяные и топливные предприятия, транспортные узлы и главные магистрали, — которые, как отмечал в своих воспоминаниях Альберт Шпеер¹⁵, могут в кратчайшие сроки вызвать сквозной паралич всей системы производства. Как отмечалось критиками масштабных бомбардировок, уже весной 1944-го стало ясно, что, невзирая на непрекращающиеся налеты, мораль немецкого

* Чтобы сломить дух гражданского населения и, прежде всего, промышленных рабочих противника (англ.).

населения сломить не удалось, промышленное производство уменьшилось лишь незначительно, а конец войны не приблизился ни на йоту. И коль скоро стратегические цели операции не претерпели изменений и едва выпущенные из училищ экипажи бомбардировщиков продолжали «играть в рулетку», стоившую жизни шести десяткам на сотню, тому, на мой взгляд, есть причины, которым официальная историография уделяет крайне мало внимания. Во-первых, операция таких материальных и организационных масштабов, как наступление бомбардировочной авиации, поглотившая, по оценкам А.Дж.П. Тейлора, треть британского военного производства¹⁸, имела настолько высокую собственную динамику, что краткосрочные корректизы курса и ограничения почти исключались, тем более в период, когда после интенсивного трехлетнего расширения производственных предприятий и наземной базы она достигла своего апогея, то есть максимальной разрушительной мощности. Просто бросить за ненадобностью на восточноанглийских аэродромах уже произведенный материал — самолеты и их полезный груз, — здоровый экономический инстинкт восставал против этого. Вдобавок решающую для продолжения операции роль сыграла, вероятно, прямотаки необходимая с точки зрения поддержания британского боевого духа пропагандистская ценность, какую имели ежедневные сообщения английских газет о систематических разрушительных актах, ведь в то время на европейском континенте англичане с противником никак больше не соприкасались. Вот почему, пожалуй, никто и не помышлял снимать с должности сэра Артура Харриса (главнокомандующего бомбардировочной авиацией), который упорно отстаивал свою стратегию, даже когда ее крах был уже очевиден. Некоторые комментаторы утверждают, «that „Bomber“

Harris had managed to secure a peculiar hold over the otherwise domineering, intrusive Churchill»*¹⁷, ведь, хотя премьер неоднократно выражал определенные сомнения касательно ужасающих бомбардировок открытых городов, он — явно под влиянием Харриса, отметившего любые контраргументы, — успокоился на том, что теперь, мол, все вершил высшая, идеальная справедливость, «that those who have loosed these horrors upon mankind will now in their homes and persons feel the shattering strokes of just retribution»**¹⁸. В самом деле многое убедительно свидетельствует, что командующий бомбардировочной авиацией Харрис, по выражению Солли Цукермана, верил в уничтожение как таковое¹⁹, а стало быть, оптимально воплощал главный принцип любой войны, то есть максимально полное уничтожение противника вкупе с его жилищами, его историей и природным окружением. Элиас Канетти связывал странную притягательность власти в самом чистом ее проявлении с растущим числом ее жертв. Совершенно в таком же ключе непоколебимость позиции сэра Артура Харриса вытекала как раз из его безграничного интереса к уничтожению. План последовательных сокрушительных ударов, неуклонно осуществлявшийся до самого конца, отличался поразительно простой логикой, по сравнению с которой все реальные стратегические альтернативы, как, например, пресечение снабжения горючим, выглядели все-го-навсегда отвлекающими маневрами. Воздушная война бомбардировочной авиации была войной в чистой, незамаскированной форме. Ее развитие, противоречащее всякому рассудку, показывает, что жертвы войны,

* Что «бомбист» Харрис сумел обеспечить себе особое влияние на обычно властного, нетерпимого Черчилля (англ.).

** Дабы те, кто навек на человечество эти кошмары, в своих домах и на собственной шкуре ощутили сокрушительные удары заслуженного возмездия (англ.).

как пишет Илейн Скарри в своей необычайно пророческой книге «Тело в муках», не суть жертвы, принесенные на пути к какой бы то ни было цели, они в прямом смысле — сам этот путь и эта цель²⁰.

Большинству весьма далеких друг от друга по уровню и, как правило, фрагментарных источников сведений о разрушении немецких городов свойственна странная эмпирическая слепота, вытекающая из крайней суженной, односторонней или смешенной точки зрения. Например, первый прямой репортаж о бомбардировке Берлина, переданный центральной службой Би-би-си, разочарует всякого, кто ожидает вникнуть в происшедшее из перспективы более высокого уровня. Поскольку, невзирая на неотступную опасность, во время этихочных вылетов ничего достойного описания не случалось, корреспондент (Уилфред Вон Томас) вынужден обходиться минимумом фактов. Только благодаря пафосу, который снова и снова звучит в его голосе, не возникает ощущения скуки. Мы слышим, как с наступлением сумерек тяжелые бомбардировщики «Ланкастер» поднимаются в воздух и уже вскоре, оставив позади белую полосу побережья, летят над Северным морем. «Now, right before us, — комментирует Вон Томас с заметной дрожью в голосе, — lies darkness and Germany»*. В ходе перелета к первым прожекторным батареям линии Каммхубера — в репортаже он, конечно же, по времени сильно сокращен — слушателям представляют экипаж: Скотти, бортинженер, до войны киномеханик в Глазго; Спарки, бомбардир-наводчик; Коннолли, «the navigator, an Aussie from Brisbane»**; «the mid-upper gunner who was in advertising before

*Сейчас прямо впереди мрак и Германия (англ.).

**Штурман, австралиец из Брисбена (англ.).

the war and the real gunner, a Sussex farmer»*. Командир остается анонимным. «We are now well out over the sea and looking out all the time towards the enemy coast»**. Идет обмен различными наблюдениями и техническими указаниями. Порой слышен лишь рокот мощных моторов. На подлете к городу — целый калейдоскоп событий. Лучи прожекторов, прошитые очередями зенитных трасс, тянутся к бомбардировщикам, один ночной истребитель сбит. Вон Томас старается надлежащим образом преподнести драматическую кульминацию, говорит о «wall of search lights, in hundreds, in cones and clusters. It's a wall of light with very few breaks and behind that wall is a pool of fiercer light, glowing red and green and blue, and over that pool myriads of flares hanging in the sky. That's the city itself!.. It's going to be quite soundless, — продолжает Вон Томас, — the roar of our aircraft is drowning everything else. We are running straight into the most gigantic display of soundless fireworks in the world and here we go to drop our bombs on Berlin»***. Однако за этой увертюрой, собственно, ничего больше не следует. Все происходит слишком быстро. Самолет уже покидает район бомбометания. Нервное напряжение отпускает, экипаж внезапно становится разговорчив. «Not too much natte-ring»,**** — осаживает командир. «By God, that looks like a bloody good show»*****, — успевает сказать кто-то. А другой добавляет: «Best I've ever seen»*****. Затем, уже через некоторое время, третий, не так

* Стрелок в верхней гондоле, до войны работавший в рекламе, и стрелок хвостовой установки, суссекский фермер (англ.).

** Сейчас мы летим над морем, держим курс на вражеское побережье (англ.).

*** Стене ищущих лучей, их сотни, они образуют конусы и пучки. Стена света, почти без разрывов, а за этой стеной — море еще более ярких огней, красных, синих, зеленых, и в небе над ним — мириады вспышек. Это сам город!. По-видимому, мы ничего толком не услышим, рев нашего самолета заглушает все прочие звуки. Мы летим прямиком в средоточие грандиознейшего беззвучного фейерверка, здесь и сейчас мыбросим бомбы на Берлин (англ.).

**** Ну-ка, потешися! (англ.)

***** Ей-богу, обалденное зрелище (англ.).

***** Ничего лучше я не видал (англ.).



громко, почти с благоговением: «Look at that fire! Oh boy!»*²¹ Сколько их тогда было, таких огромных пожаров. Однажды я слышал, как бывший бортстрелок рассказывал, что с его места в хвостовой гондоле горящий Кёльн было видно, даже когда они снова оставили позади голландское побережье, — огненное пятно во мраке, похожее на хвост неподвижной кометы. Наверняка из Эрлангена или Форххайма был виден охваченный пламенем Нюрберг, а с холмов вокруг Гейдельберга — отсвет пожаров над Мангеймом и Людвигсхафеном. Принц Гессенский ночью 11 сентября 1944 года, стоя на опушке своего парка, смотрел на Дармштадт, находившийся в пятнадцати километрах. «Зарево разгоралось все сильнее, пока весь южный небосклон не запыпал багровым огнем, пронзающий желтыми молниями»²². Один из узников Малой крепости Терезиенштадта вспоминает, что на расстоянии 70 километров отчетливо видел из окошка своей камеры огненный отсвет над горящим Дрезденом и слышал глухие разрывы бомб, как будто совсем

* «Гляньте, какой пожар! Ого-го! (англ.)

рядом бросали в погреб пятидесятки лограммовые мешки²³. Фридрих Рекк, уже в самом конце войны брошенный фашистами в Дахау за вредительские высказывания и умерший там от тифа, записал в дневнике — а это поистине неоценимое свидетельство эпохи, — что при налете на Мюнхен в июле 1944 года до самого Кимгау дрожала земля и от взрывных волн вылетали стекла²⁴. Хотя то были совершенно недвусмысленные знаки катастрофы, накрывающей всю страну, не всегда оказывалось так уж просто получить достаточно точные сведения о характере и масштабе разрушений. Потребности узнать противостояло желание отключить восприятие. С одной стороны, курсировало невероятное количество дезинформации, с другой — правдивые истории, которые абсолютно не укладывались в голове. В Гамбурге, как говорили, погибло 200 000 человек. Рекк пишет, что не может верить всему, поскольку много слышал «о полном умственном помешательстве гамбургских беженцев... об их амнезии и о том, как они, в одних пижамах, бродили вокруг в том состоянии, в каком спасались из рушащихся домов»²⁵. Носсак сообщает сходные вещи: «В первые дни было невозможно получить точные сведения. То, что рассказывали, в деталях никогда не совпадало»²⁶. Очевидно, под влиянием пережитого шока способность вспоминать частично отказывала или работала компенсаторно, по произвольной сетке. Уцелевшие в катастрофе были ненадежными, полуслепыми очевидцами. В тексте «Воздушный налет на Хальберштадт 8 апреля 1945 года», написанном уже примерно в 1970 году и поднимающем вопрос о последствиях так называемой moral bombing*, Александр Клюге цитирует некого американского военного

* Моральной бомбардировки (англ.).

психолога, который после войны беседовал в Хальберштадте с уцелевшими и вынес впечатление, что «население, при всей его врожденной словоохотливости, утратило психическую способность вспоминать и что амнезии подверглись люди, находившиеся внутри периметра городских разрушений»²⁷. Даже если это предположение, сделанное якобы реальным лицом, относится к числу знаменитых псевдодокументальных приемов Клюге, таким образом безусловно выявлен характерный синдром, ведь рассказам уцелевших, как правило, свойственна отрывочность, своего рода дискретность, настолько несовместимая с нормальным вспоминанием, что легко создает впечатление выдумки и досужего домысла. Однако это ощущение фальши в сообщениях очевидцев возникает и в силу стереотипных оборотов, какими они то и дело пользуются. Реальность тотального уничтожения, непостижимая в своей экстремальной случайности, стирается, бледнеет за ходячими формулировками вроде «все стало добычей огня», «роковая ночь», «от пожара было светло как днем», «царил сущий ад», «мы видели преисподнюю», «страшная участь немецких городов» и проч. Их функция — маскировать и нейтрализовать переживания, выходящие за пределы постижимого. Выражение «в тот страшный день, когда наш прекрасный город сровняли с землей», которое клюгевский американец — исследователь катастроф слышит как во Франкфурте и Фюрте, Вуппертале и Бюргбурге, так и в Хальберштадте²⁸, на самом деле всего-навсего жест, отгоняющий воспоминание. Даже дневниковая запись Виктора Клемперера о гибели Дрездена остается в пределах, поставленных языковой традицией²⁹. В свете всего, что мы знаем теперь о гибели Дрездена, нам кажется невероятным, чтобы человек, стоявший тогда в тучах искр на Брюльской террасе и видевший panoramu горящего

города, мог сохранить здравый рассудок. Нормальное функционирование обычного языка в рассказах большинства очевидцев заставляет усомниться в аутентичности изложенного в них опыта. За считанные часы в огне погиб целый город со всеми его постройками и деревьями, со всеми жителями, домашними животными, всевозможной мебелью и имуществом, а это не могло не привести к перегрузке и параличу мыслительной и эмоциональной способности тех, кому удалось спастись. Сообщения отдельных очевидцев поэтому имеют лишь относительную ценность, и их необходимо дополнить тем, что открывается при синоптическом, искусственном сопоставлении.

В разгар лета 1943 года, в период затяжной жары, британские ВВС при поддержке 8-й воздушной армии США совершили ряд налетов на Гамбург. Целью этой операции под кодовым названием «Гоморра» было максимальное уничтожение и испепеление города. При налете в ночь на 28 июля, который начался в час ночи, на густонаселенный жилой район восточнее Эльбы, включающий кварталы Хаммерброок, Хамм-Норд и Хамм-Зюд, Билльвердер-Аусшлаг, а также от части Санкт-Георг, Айльбек, Бармбек и Вандсбек, было сброшено 10 000 тонн фугасных и зажигательных авиабомб. Сначала по уже опробованной схеме фугасы массой по 4000 фунтов вышибли все окна и двери, затем легкие зажигательные бомбы подожгли чердаки, а зажигательные бомбы весом до 15 килограммов одновременно пробивали перекрытия и проникали в нижние этажи. За считанные минуты на территории около 20 квадратных километров повсюду возникли огромные пожары, разраставшиеся настолько быстро, что уже через четверть часа после сброса первых бомб все воздушное пространство, куда ни глянь, стало сплошным

морем пламени. А еще через пять минут, в час двадцать, разразилась огненная буря такой интенсивности, какую до тех пор никто и помыслить себе не мог. Огонь, взметнувшийся ввысь на две тысячи метров, с такой силой затягивал кислород, что воздушные потоки приобрели мощь урагана и гремели как могучие органы, где включены разом все регистры.

Так продолжалось три часа. Достигнув кульминации, эта буря срывала фронтоны и крыши домов, крутила в воздухе балки и тяжелые плакатные стенды, с корнем выворачивала деревья и гнала перед собой живые человеческие факелы. Из-за рушащихся фасадов выплескивались высоченные фонтаны пламени, мчались по улицам, словно приливная волна, со скоростью свыше 150 километров в час, огневыми валами кружили в странном ритме на открытых площадях. В некоторых каналах горела вода. В трамвайных вагонах плавились стекла, в подвалах пекарен кипели запасы сахара. Выбежавшие из укрытий люди вязли в жидкому, пузырящемуся асфальте, не могли выбраться, падали и замирали в гротескных позах. Никто на самом деле не знает, сколько людей той ночью погибли и сколько перед смертью сошли с ума. Когда настало утро, солнечный свет не проникал сквозь свинцовый мрак над городом. Дым поднялся на высоту восьми тысяч метров и расположился там исполинской, похожей на наковальню грозовой тучей. Зыбкий жар — пилоты бомбардировщиков рассказывали, что чувствовали его сквозь обшивку самолетов, — еще долго исходил от чадящих, тлеющих груд развалин. Жилые кварталы, уличный фронт которых составлял круглым счетом 200 километров, оказались полностью уничтожены. Повсюду лежали чудовищно изуродованные тела. По одним еще пробегали синеватые фосфорные огоньки, другие, бурые или багрово-красные,